

**В. В. Розанов**

## **Два вида «правительства»**

*«Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта „Спасович о Пушкине“...»*

Прочитав статью г. Ник. Энгельгардта «Спасович о Пушкине», не могу удержаться, чтобы не сделать к ней несколько добавлений. И да простит читатель, если они не будут того же спокойного тона. Если вдуматься, нападения г. Спасовича на Пушкина гораздо более для памяти великого поэта, нежели та грязь непонимания, которую когда-то лил на его голову наивный Писарев. Во-первых, они опаснее потому, что осторожнее и умнее; во-вторых, потому, что они не так ярки и не вызывают сейчас же и резкого отпора, т. е. они остаются в уме читателя. Между тем предмет их гораздо мучительнее, избранные точки для нападения — гораздо тягостнее, и не только для Пушкина, но и для русского общества, привязанного к его памяти. Писарев доказывал, что Пушкин «не поэт», как, напр., был для него поэтом Гейне, а во-вторых, что если бы он и был поэтом, то это — «ничего не значит, не содержит в себе никакой заслуги, так как всякий, если захочет, „может сделаться таким же поэтом, как Пушкин“». Эта детская аргументация, детская и по теме всей, и по способу выполнения, могла подействовать на детские части общества, но она как-то в сущности не задевала и не касалась самого Пушкина. Так его понимают — ну что ж, всякий в понимании волен, и качества понимания лежат на ответственности каждого.

Нападения г. Спасовича, не затрагивая поэта, даже усиленно охраняя от умаления его гений, — тем, кажется, с большим беспристрастием и основательностью сосредоточиваются на Пушкине-человеке, на Пушкине как члене общества, хотя бы и живущего. Упрек здесь бросается не в литературную мантию поэта, а ему в лицо. И содержание упреков г. Спасовича таково, что они пачкают это лицо, ровняют человека; они клонятся к тому, чтобы исключить из общества его члена. Само собою разумеется, что «поэт» погиб, когда погублен человек, и этот прием неизмеримо оскорбительнее, чем все, что писал наивный Писарев.

Г. Энгельгардт не без остроумия и меткости назвал статью г. Спасовича «эристикой»; даже не софистикой, но эристикой, и только. Г. Спасович, обладающий прекрасным и легким слогом, умом совершенно достаточным, чтобы не дать заметить отсутствие в нем оригинальных мыслей, и гражданским чувством настолько приподнятым и шуршащим, что оно не дает подслушать и подглядеть человека, — не есть в собственном смысле писатель. Потому что нет новой, ему лично и исключительно принадлежащей мысли, за которую он бился бы с пером в руке, отстаивал ее, страдал за нее, на ее торжество надеялся, об ее непризнанности скорбил. Нет ничего такого, т. е. нет содержания писателя в нем, а есть только форма. Все его мысли — подняты с улицы, т. е. вы их читаете в «Вестнике Европы» или в «Русской Мысли», у г. Спасовича или у покойного Евг. Утина. Он — носильщик в литературе: коробейник, у которого за плечами товар не его фабрики. В конце концов, и, как это общеизвестно, он сытый и самодовольный адвокат, орега отпня которого могли бы быть удобно озаглавлены названием «В часы досуга». В нем мы наблюдаем игру «прекрасного слога» над человеком, которого этот стилистический талант, без тяжести внутреннего содержания, повлек сделаться журналистом.

Пушкин народен и историчен, вот точка, которой в нем не могут перенести те части общества и литературы, о которых покойный Достоевский в «Бесах» сказал, что они исполнены «животного злобой» к России. Он не отделял «мужика» от России и не противопоставлял «мужика» России: он не разделял самой России, не расчленял ее в своей мысли и любил ее в целом: т. е. он именно «свободно», как прекрасно настаивает г. Энгельгардт, — около мужика любил помещика, около Петра I — Иоанна IV; и, наконец, он любил правительство свое, ну, хоть в той степени, в какой позволительно же, не вызывая насмешек, татарину любить свой шариат и своих мулл, еврею позволительно любить синагогу и раввинов. Он до конца жизни своей любил и уважал декабристов: и никто никогда не подслушал, нет ни одного об этом буквенного памятника, чтобы, говоря с императором Николаем I, он когда-нибудь в этом разговоре попрекнул их память.

Вот этого отношения к России ему не могут простить, ибо это значило бы помириться с Россией, чего решительно не могут носители «животной ненависти к ней», по определению Достоевского. Создалась легенда о «придворной ливрее» Пушкина: о перемене, «чередовании» (выражение г. Спасовича) в убеждениях Пушкина; о том, что это «чередование» совершилось «не безвыгодно» (термин г. Спасовича) для него. Наконец, вопреки свидетельству его поэзии, в ее неисчерпаемых глубинах: вопреки свидетельству его прозаических отрывков, где каждая страница может быть развита в философский трактат и каждая строка может быть раздвинута в страницу, создалась версия о его «поверхностности» и «малообразованности». «Шекспир создал целое человечество»: ведь эта мысль, эта короткая строчка 36-летнего Пушкина ценностью и обилием содержания перевешивает все, что успел в критике и истории литературы написать г. Спасович к 60-тилетнему своему возрасту. Его параллель между Мольером и

Шекспиром есть программа литературно-критической школы; возражения Радищеву и Чаадаеву есть программа политическая, более ясная и убедительная, чем какую 30 лет проводит и защищает «Вестник Европы». Мы говорим о черновых его набросках, о бумажном хламе, который он бросал в корзину, а не нес в печать. Мы не подымаем речи о таких его созданиях, как «Египетские ночи», где на протяжении всего 16 страниц он дал три образа незабываемых, три клочка разделенных тысячелетиями миров, углубившись в которые и отделяя форму от содержания, мы не знаем, кому более удивляться в Пушкине — вдохновенному ли поэту, который так умеет рисовать, или всемирному мудрецу, который так умеет понимать. Но для г. Спасовича Пушкин «легковесен»... Sancta simplicitas!

Остроумно г. Энгельгардт говорит, что статья г. Спасовича оставляет впечатление смешного. Это — для читателя зоркого, размышляющего, наконец, знающего и понимающего Пушкина; но у «Вестника Европы» 6000 подписчиков, т. е. 60000 читателей, между которыми многим, без сомнения, нужна указка, и г. Спасович, при всегдашней серьезности его тона, может показаться указкою совершенно достаточною. Подобные «писатели» поэтому, мы думаем, понижают общество умственно, удерживая от размышлений, от изучения, от простой любви к человеку такого поэтического дара и таких глубин ума, как Пушкин. Ибо «поэт» и «мыслитель», который оказался столь слаб теоретически и нравственно так несостоятелен, как Пушкин по объяснениям Спасовича, имеет мало вероятия быть внимательно изучаемым. Критики, когда они несправедливы или когда они вообще почему-либо не стоят на уровне с критикуемым автором или книгою, бесспорно, умственно деморализуют общество.

Мы сказали, что под гражданским шумом, точнее, шуршаньем, в пределах законодательных §§, - г. Спасович не дает рассмотреть в себе человека; и между тем именно на человека, на лицо нападает он в Пушкине. Мало кто помнит теперь, но, справившись с «Дневником Писателя» Достоевского, всякий может узнать, что г. Спасович защищал на суде не розгу, но истязание розгами девочки-ребенка семи лет; истязание с кровью, и столь вообще дикое по форме, что дело и до суда дошло через «донос» соседней бабы-прачки. Баба-прачка оказалась на большей высоте гражданского и даже государственного развития, чем знаменитый юрист и очень известный журналист. Оставим это. Мы хотим поговорить о «ливрее», которую г. Спасович усиливает натянуть на плечи Пушкина, и мы поищем ее на нем. Пушкин «подыгрывался» к правительству, и не «безвыгодно»; изменял дружбе приятелей, когда они оказались в беде; «не безвыгодно», оставив прежние убеждения, вызвал «на очередь» в себе другие. Так «указывает ему двери» из общества, и уже конечно, из литературы, литератор и член общества г. Спасович. Но что есть «правительство» для человека? Не то ли, от чего или, точнее, от кого он зависит, кто его держит у себя в руках? Итак, для Пушкина в том незначительном объеме, насколько он был подданным и насколько именно это подданничество составляло содержание его жизни, его трудов, дум, опасений, надежд, — правительством был император, его лично знавший; для всякого чиновника, уже во всей полноте его жизни, правительство есть бюрократический механизм. Но нет ли в этой же полноте, нет ли правительства и на бирже? Струсберг звался в Германии «железнодорожным королем»: вот правительство и вот лицо правителя. Нет ли правительства у адвоката? — Да, его клиент, т. е. возможных тысяча клиентов, которые дадут богатство, или возможных два клиента, которые оставят нищим; и, наконец, есть правительство у писателя; это — его читатели, которые дадут ему известность, положение, деньги; или безвестность, нищету, презрение. Я сказал, что в строгом смысле г. Спасович не есть писатель; и теперь прибавлю, что он не достоин этого имени, истинно высокого в истинном его значении. Капель утружденного пота не видно на листах его трудов; пота, который окрашивался бы кровью, не видно; мысли, за которую он боролся бы с «правительством»...

Ну, конечно, со своим правительством, т. е. с правительством читателей, которым говоря новую мысль он их убеждал бы, распинался бы и даже готов был бы «пострадать за убеждения», т. е. потерять читателей или очень значительную их часть. Вот новый вид мученичества, и слава Богу, что еще есть какой-нибудь, т. е. что можно по готовности к мученичеству отличать честного от бесчестного, ибо время наше — время «подделок» и, так сказать, «маргарина» на всех путях, во всех сферах, в том числе и литературной и политической. Но вы указываете, т. е. я говорю о г. Спасовиче и аналогичных ему «писателях», что вы «готовы пострадать за убеждения» не перед своим правительством, а перед чужим, перед начальством чиновников, которому никакого дела до литературы нет, оно эту литературу почитывает да позевывает и переходит, как к серьезному делу, к своим «отношениям», «делопроизводителям», «директорам» и проч. Даже в тех случаях, когда оно считает своим долгом «присмотреть» за писателем, при малейшей осторожности так легко ускользнуть от его кар, не меняя нисколько убеждений, каковы бы ни были они, и лишь несколько прибегая к «эзоповскому языку», читателям, т. е. единственному истинному правительству писателя, совершенно понятному. Но вот кого нельзя обмануть, кто истинно зорок и кто беспощадно строг — это правитель-читатель. Попробуйте с ним бороться; попробуйте перед ним отстоять свое «я», свою уединенную работу, свои нервы, свой ум и «искру Божию» в вас. Я хочу сказать, попробуйте не уважить кумиров этой тысячеголовой вас слушающей толпы, не уважить ее предрассудков, привывчек, иногда ее сна, ее болезни, — и она вас потрет или причинит вам столько страданий, сколько не сможет и не сумеет причинить совершенно вам чуждое «правительство» чиновников. Вспомним, как мало чувствительна была, какую вообще незначительную роль в жизни Тургенева играла ссылка его в деревню за некролог о Гоголе; и какую мучительную болью